

# Последний Свет

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов  
**Последний Свет**

«Автор»

2026

## **Сероусов Э.**

Последний Свет / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Астрофизик Елена Васильева открывает, что семь звёзд в созвездии Лебедя гаснут ступенчато — не природно, а инженерно. Её телевизионное интервью человечество читает как знак спасения. Слепой и умирающий профессор Левин раскрывает ей вторую правду: решётка уже смыкается вокруг Солнца, и Земля избрана. На орбите ждёт сад — вечный полдень, где умершие живут вечно. У Елены умирает четырнадцатилетняя дочь Мира, и место в саду обещают за её исцеление. Но в этом саду совершенство, в котором нет ни горя, ни выбора, ни смерти, оказывается клеткой. Чтобы остановить решётку, Елене нужно отказаться от единственного, что она способна спасти. Тихая повесть о любви, отпуске и цене подлинной жизни.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Часть 1. Две кривые	5
1	5
2	7
3	9
4	11
Часть 2. Приглашение	12
5	12
6	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Эдуард Сероусов

## Последний Свет

### Часть 1. Две кривые

#### 1

Сатурация Миры упала до восьмидесяти девяти за то время, что Елена смотрела, как гаснет звезда.

Цифра мигнула на мониторе у изголовья — зелёная, потом янтарная — и тут же выровнялась. Восемьдесят девять, восемьдесят восемь, восемьдесят девять. Аппарат привык колебаться у этой границы и не считал нужным тревожиться. Елена тоже научилась не тревожиться: за полгода в палате тело отделяет страх от чисел, иначе не выжить рядом с тем, кто умирает. Числа становятся просто числами. Это первое, чему здесь учат, и единственное, что здесь по-настоящему милосердно.

На планшете в её руках гасла КИС-9. Седьмая.

Кривая блеска ползла вниз уступами — не плавно, как при затмении планетой или звёздным пятном, а ступенями, будто кто-то задёргивал штору в несколько приёмов. Между уступами свет держался ровно, ровнее, чем способна держать живая звезда, словно она отдыхала, набираясь сил, чтобы потускнеть ещё. Елена знала эту форму наизусть. Она первой её описала — «ступенчатая окклюзия», красивое имя для того, чему не было объяснения. Природа так не гасит. Пыль рассеивает свет постепенно, пятно уходит вместе с вращением, планета даёт чистую симметричную ямку и возвращает всё, что взяла. А это брало и не возвращало. Каждая ступень была чуть глубже прошлой и держалась чуть дольше, как будто вокруг звезды смыкалось что-то, чего становилось всё больше, и оно было терпеливым, и оно не спешило.

Теперь эта форма снилась ей: лестница в темноту, по которой что-то спускалось, не оборачиваясь.

Две кривые. Та, что на мониторе, и та, что в руке. Обе шли вниз. И обе она читала с одинаковой жадностью, и ни одну не могла поправить.

— Опять она, — сказала Мира.

Голос был тонким — не от слабости, а от насмешки, которую слабость ещё не успела отнять. Елена подняла глаза. Дочь смотрела на неё с подушки, и в подушке голова Миры лежала так глубоко, что казалась меньше, чем месяц назад. Платок вместо волос — Мира надевала его не из стыда, а из безгливости к чужим взглядам. Глаза отцовские: тёмные, слишком взрослые для лица.

— Опять она, — повторила Мира. — Ты на неё смотришь так, как на меня никогда.

Елена положила планшет экраном вниз. Слишком поздно — жест и был признанием.

— Я смотрю на тебя всё время.

— Ты смотришь на меня, как на график, который ещё можно исправить. — Мира отвернулась к окну. За окном был октябрь, обычный, живой; вечерние звёзды только проступали, и все они пока горели. — С ней хоть честнее. Её ты исправить не можешь и знаешь это. Со мной ты ещё надеешься.

Слово упало и осталось лежать между ними. Надежда. В этой палате это было ругательством.

В коридоре звякнула тележка. Где-то пискнул чужой монитор, и чужая медсестра пошла на писк неспешным шагом человека, который слышал этот звук тысячу раз и научился по

высоте тона отличать тревогу от привычки. Запах был всегда один — антисептик поверх остывшего кофе, который Елена приносила и не допивала. Кофе она брала каждое утро в автомате на первом этаже, и каждый вечер уносила полным, и это тоже стало ритуалом, бессмысленным, как все её ритуалы: вещь, которую делаешь, чтобы делать.

— Я перевела тебя сюда, потому что здесь дают то, чего не дают больше нигде, — сказала Елена. Голос вышел ровный, отрепетированный; она репетировала это в лифте каждое утро. — Протокол Сегала. Третья фаза. Четырнадцать процентов ответили.

— Я не просила.

— Мира.

— Я просила домой. — Дочь сказала это спокойно, и спокойствие было хуже крика. — Я просила, чтобы перестали. Я сказала это врачу, я сказала это тебе, я написала это на бумаге, которую ты убрала в сумку. А потом проснулась здесь. С новой иглой. — Она подняла руку с катетером — медленно, будто рука весила больше, чем раньше. — Знаешь, что у меня осталось, мам? Одно. Как именно. Не «умру» — это уже не мне решать, врачи всё посчитали, я видела их лица. А как. С трубками или без. Дома, где моя кровать и мои книжки, или тут, где пахнет, как ты не допила кофе. И ты забрала и это. Последнее, что было моё, ты подписала за меня в коридоре, пока я спала.

Восемьдесят восемь. Восемьдесят девять.

Елена открыла рот, чтобы сказать про четырнадцать процентов. Что четырнадцать — это не ноль. Что отказаться от четырнадцати значит выбрать ноль, а выбрать ноль она не может, не умеет, в ней нет такой кнопки — кнопки, которой нажимают «достаточно». Вся жизнь она измеряла свет, который шёл к ней миллионы лет, чтобы рассказать о вещах, давно переставших существовать. Вся жизнь она верила, что если смотреть достаточно долго и считать достаточно точно, то поймёшь. Поймёшь — значит сможешь. А здесь понимание ничего не меняло. Она прочла каждый снимок Мириных лёгких, она знала диагноз лучше половины врачей, и это знание было совершенно бессильно, как бывает бессилён свет погасшей звезды: ещё идёт, ещё ярк, а греть уже некого.

Но Мира уже закрыла глаза — не уснула, просто закрыла, отгородилась, — и Елена осталась с двумя кривыми и тишиной, в которой обе продолжали идти вниз.

Она перевернула планшет обратно. КИС-9 потускнела ещё на ступень, пока они говорили.

## 2

Свет в студии был такой, что собственное лицо на мониторе казалось чужим — выглаженным, уверенным, лицом женщины, которая знает.

— Доктор Васильева. — Ведущая наклонилась вперёд, и наклон был тёплым, доверительным, отработанным. — Вся планета смотрит на вас как на человека, который понял первым. Скажите простыми словами. Что происходит со звёздами в созвездии Лебедя?

Десять камер. Под микрофоном, прицепленным к воротнику, по спине тёт пот. Елена смотрела не в объектив, а чуть мимо — в тёмное пятно за софитами, где сидели люди и где можно было притвориться, что говоришь одному человеку, а не сразу всем.

— Семь звёзд, — сказала она. — За двадцать месяцев. Каждую окутывает растущая структура — решётка, я бы назвала её решёткой, — которая шаг за шагом перекрывает свет. Звёзды не умирают. Их... заковывают. И делается это не природой.

— Не природой. — Ведущая выдержала паузу, чтобы слово упало в тишину. — Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать только то, что говорят данные. — Елена услышала, как голос её твердеет, и не смогла этого остановить. — Природа не работает по расписанию. Природа не строит конструкций правильной геометрии за месяцы. Я тридцать лет читаю свет звёзд. Я знаю, как выглядит пыль, как выглядит затмение, как выглядит смерть светила от старости — медленно, неряшливо, асимметрично. А это аккуратно. Это размеренно. У этого есть чертёж. Кто-то делает это руками. Не богов — руками.

Она хотела сказать «руками», чтобы было страшно. Она хотела, чтобы зал услышал чужую руку, тянущуюся к звезде, как тянутся к выключателю в комнате, где ещё кто-то живёт.

Зал услышал другое.

Это стало видно сразу — по тому, как разошлись лица в темноте, как ведущая откинулась назад с почти религиозным облегчением, как застрекотали где-то в зале телефоны, выносящие её слова наружу, в восемь миллиардов карманов.

— То есть мы не одни, — выдохнула ведущая. — То есть там, наверху, есть кто-то, кто строит. Кто способен на такое. И, может быть, — она почти не дышала, — кто смотрит и на нас.

— Я этого не говорила.

— Но если они могут гасить звёзды нежно, как свечи, и не разрушать, а оборачивать в серебро... — Ведущая повернулась к камере, к стране, к виду. — Доктор Васильева, разве это не самая прекрасная новость в истории человечества? Мы не одни. И, может быть, нас оберегают.

На мониторе лицо Елены — чужое, выглаженное — не возразило. Оно молчало целую секунду. Внутри неё в эту секунду неслось всё разом: что «нежно» — слово не из физики; что нельзя называть нежностью то, чьего смысла не понимаешь; что инженер, гасящий звезду, не обязан быть добрым только оттого, что аккуратен; что аккуратность палача и есть самое страшное в палаче. Но всё это требовало других слов, длинных, осторожных, неэфирных, а секунда уже истекала, и в горле было сухо, и десять камер ждали.

И секунда ушла в эфир. И в этой секунде вся планета прочитала согласие.

Позже, в гримёрке, снимая микрофон, она увидела себя в зеркале по-настоящему — не выглаженное студийное лицо, а своё, серое, с залёгшими тенями. И не сразу поняла, что в эту минуту, не сказав ни единого лишнего слова, она ответила им. От лица всех. Сказала «да» за весь вид. Открыла дверь и встала в проёме, улыбаясь, потому что не нашла слов, чтобы её закрыть.

В коридоре телестудии её уже ждали с цветами. Незнакомая женщина плакала и хотела пожать ей руку. «Спасибо, — повторила она, — спасибо, что сказали правду, теперь не так

страшно». Елена пожала ей руку. Рука женщины была тёплой и живой, и Елена впервые подумала — отчётливо, как формулу, — что эта женщина благодарит её за то, чего она не говорила, и что благодарность эта опаснее любого упрёка.

### 3

Часы Андрея останавливались каждую ночь, потому что были механические, и каждое утро она их заводила.

Это занимало семь оборотов колёсика. Она знала, что семь, считала, не считая, — мёртвая вещь под пальцами оживала на сутки, отсчитывала чужое, давно кончившееся время. Стрелки шли. Это было важно — что стрелки шли. Андрей носил эти часы каждый день одиннадцать лет; на ремешке осталась вмятина от его запястья, чуть смещённая от её. Она застёгивала на дырку дальше, чем он. Это была единственная поправка, которую она внесла.

Дома, в пустой квартире с включённым фидом обсерватории на стене, она делала ещё одно. Открывала телефон, находила папку без названия и нажимала. Голос Андрея заполнял комнату — не слова даже, слова она знала наизусть, а тембр, низину голоса, то, как он смеялся в середине фразы. «Лен, ну ты где, я взял не те, опять купил овсяное, ты же говорила гречневое, перезвони, я в очереди стою, как дурак...» Сообщение трёхлетней давности про печенье. Двадцать две секунды. Она слушала его, как слушают море — не за смысл, а за то, что оно всё ещё шумит.

В квартире было одиннадцать таких записей. Она знала длительность каждой.

В палате она забыла, что у Миры теперь чуткий сон.

— Опять овсяное печенье?

Елена дёрнулась. Мира смотрела на неё из темноты — глаза открыты, в них отблеск экрана на стене, где медленно вращалась серебряная сеть вокруг далёкой звезды.

— Я думала, ты спишь.

— Я слышала это сообщение, наверное, тысячу раз. — Мира приподнялась на локте; это стоило ей усилия, и Елена двинулась помочь, но дочь покачала головой. — Ты ставишь его в наушник, когда думаешь, что я не вижу. Я по твоему лицу знаю, на какой ты секунде. На «как дурак» у тебя вот так дёргается тут. — Она коснулась уголка собственного рта. — Знаешь, что странно, мам?

— Спи.

— Ты не папу слушаешь. — Голос Миры был усталым, без злобы, и от этого слова входили глубже. — Я думала раньше — она скучает по папе. А ты не скучаешь. По папе скучают, когда вспоминают, какой он был живой: как он храпел, как ругался на сборку мебели, как пел фальшиво. И плачут. И потом легче. А ты не плачешь, мам. Ни разу за три года. Ты слушаешь, как тебе не больно. Ты эту запись держишь, чтобы между тобой и тем, что он умер, всегда стояло вот это. — Она кивнула на телефон. — Двадцать две секунды стенки из его голоса.

Стрелки часов на запястье Елены шли. В тишине палаты было слышно, как они идут.

— Когда я умру, — сказала Мира, и Елена впервые не поправила слово, не сказала «не говори так», потому что нечем было поправить, — у тебя будет от меня тоже запись. И фотографии. Много. Ты их все хранишь, я знаю, ты даже черновики не удаляешь. И я знаю, что ты их заведёшь, как часы. Каждое утро по семь оборотов. Будешь слушать, как я смеюсь, и на каком-то слове у тебя будет дёргаться тут. — Снова уголок рта. — Только меня там не будет, мам. Будет стенка. — Она опустила обратно на подушку, выдохшись от собственной длинной речи. — Ты так умеешь любить, что мёртвые у тебя живее живых. Меня это пугает. Не за себя. За тебя. Потому что я скоро тоже стану записью, а ты так и останешься тут, заводите нас всех по утрам.

Елена не ответила. Она сидела, держа в одной руке тёплый телефон с чужим голосом, а другой накрыв запястье, где шли часы, — две мёртвые вещи, которые она заставляла идти, — и смотрела, как на стене растёт серебряная решётка вокруг далёкой звезды, ловя в сеть последний её свет. И впервые ей пришлось в голову, неприятно, мельком, что она не так уж

сильно отличается от того, что там, на стене: тоже не отпускает, тоже заковывает дорогое в сеть, чтобы оно никогда не кончилось. Мысль была невыносимой, и она её прогнала, как прогоняют осу, не разглядывая.

## 4

Телефон зазвонил в три часа ночи, с незнакомого номера, и она ответила сразу — в три часа ночи мать умирающего ребёнка отвечает сразу.

Сначала было дыхание. Свистящее, с присвистом на вдохе — лёгкие, которые работали через силу. Потом голос, который она не слышала одиннадцать лет.

— Лена.

Она встала со стула слишком быстро, и комната качнулась.

— Профессор Левин?

— Я смотрел тебя. — Свист, пауза, чтобы набрать воздух. — В эфире. Всю эту... ярмарку. — Он закашлялся, отвёл трубку, вернулся. — Ты хорошо говорила. Ты всегда хорошо говорила, в этом и беда. Тебя слушают.

За окном горели обычные звёзды. Все на местах. Орион всходил над крышами, как всходил миллион лет, ничего не зная.

— Профессор, сейчас три часа...

— Ты сказала им, что это подарок. — Голос вдруг стал твёрдым, без свиста, будто он собрал последние силы в одну фразу. — Ты не сказала этого слова, я знаю, ты слишком умна для этого слова. Но ты улыбнулась там, где надо было закричать. И они услышали «подарок». Восемь миллиардов услышали «подарок» с твоего лица.

— Это инженерия. Я сказала правду.

— Правда, — выдохнул Левин, и в выдохе было что-то похожее на смех, очень старое и очень горькое. — Лена, девочка моя. Я нашёл эту лестницу в небе сорок лет назад. Я знаю, что спускается по ней. И я звоню тебе среди ночи не потому, что выжил из ума, хотя все так говорят. Я звоню, потому что ты единственная, кто ещё может закрыть рот всему человечеству, пока не поздно.

Свист. Долгий вдох.

— Ты ответила им, Лена. С этого экрана. Ты и не знаешь, что наделала.

В трубке щёлкнуло. Связь оборвалась. Елена стояла в темноте посреди комнаты, в одной руке телефон, на другом запястье — идущие чужие часы, а на стене беззвучно росла решётка, и далёкая седьмая звезда гасла ступень за ступенью, не оборачиваясь.

## Часть 2. Приглашение

### 5

Квартира Левина пахла бумагой, табаком и болезнью, и в ней было темно, потому что хозяин почти не различал света.

— Не зажигай, — сказал он от стола, услышав её руку у выключателя. — Мне всё равно, а тебе будет жалко на меня смотреть. Садись.

Глаза за толстыми стёклами были молочными — катаракта съела зрачки до белизны. Над разложенными по столу распечатками лежала лупа в латунной оправе, и Левин водил ею вдоль графиков, наклоняясь так низко, что почти касался бумаги носом. Сорок лет назад он первым научил её читать кривые блеска. Теперь он читал их на ощупь, по памяти формы, как слепой читает знакомое лицо ладонью.

— Смотри сюда. — Он подвинул к ней верхний лист. Пожелтевший, с выцветшими чернилами. — Восемьдесят первый. Объект, который тогда сочли ошибкой аппаратуры. Звезда в Лебеде, потускнела уступами и погасла. Я написал статью. Мне сказали: артефакт наблюдения, грязь на зеркале. Карьеру, Лена, делают не на грязи на зеркале. — Он усмехнулся в темноту. — Меня вынесли из профессии за то, что я увидел первую ступеньку. А теперь те же люди ставят тебя в эфир, чтобы ты назвала восьмую чудом.

Елена смотрела на старую кривую. Та же форма. Тот же почерк — ступени, площадки, ступени. Сорокалетней давности, из времён, когда ещё были живы её родители, когда Андрей был мальчишкой и не знал, что родится женщина, которая будет заводить его часы.

— Если это началось так давно... — Она считала в уме и не любила того, что выходило. — Расстояние до Лебедея — полторы тысячи световых лет. Значит, то, что мы видим сейчас, случилось полторы тысячи лет назад. Всё уже произошло. Мы смотрим на это.

— Да. — Левин откинулся в кресле. — Семь могил, которым тысяча пятьсот лет, и мы только теперь слышим, как закрывали крышки. Это первое, что ты должна понять. То, в Лебеде, — кончено. Спасать там некого, бояться поздно. Это просто... надпись. Кто-то написал на небе, очень крупно, очень терпеливо: вот что мы делаем. Семь раз написал, чтобы наверняка прочли. — Он помолчал, и что-то в его лице переменилось — обмякло, постарело ещё на десять лет. — А теперь, Лена, я расскажу тебе вторую вещь, и это та вещь, ради которой я тебя позвал, и которую я не говорил никому сорок лет.

Он снял очки. Без них белые глаза смотрели в никуда, в точку чуть выше её плеча.

— Ты слышала про мою молодость? Что я делал, прежде чем меня выгнали?

— Вы искали сигналы. SETI. Слушали небо.

— Слушал. — Он произнёс это слово, как сплёвывают. — А потом мне стало мало слушать. Мне, мальчишке, казалось — мы как глупец, который сидит в тёмном лесу и боится крикнуть, потому что вдруг отзовутся. И я стал тем, кто кричит. METI, Лена. Активный сигналинг. Я был среди тех, кто составлял послания. Я считал частоты, на которых нас будет лучше слышно. Я писал статьи — пылкие, красивые, я тогда тоже хорошо писал, — о том, что молчать трусливо, что зрелая цивилизация обязана заявить о себе, протянуть руку первой. «Кричите в темноту, — писал я, — чтобы они знали: мы здесь». — Он издал короткий, страшный смешок. — Я был ты, Лена. Только наоборот. Я открывал дверь и звал войти.

Холод полз от немытого окна.

— Профессор...

— Я не знаю, слышали ли они именно меня. — Голос его упал почти до шёпота, и в шёпоте было сорок лет. — Может, и без меня. Может, они находят всех, кого хотят, и наши

крики им не нужнее, чем муравью реклама. Я не знаю и никогда не узнаю, и это, Лена, и есть мой ад: я не могу даже толком покаяться, потому что не уверен, что виноват. Но я кричал в темноту. Громче многих. И темнота ответила. И теперь я слепой старик, который сорок лет назад орал «откликнитесь», а сегодня хрипит «молчите», — и я отлично понимаю, почему мне не верят. Кто поверит пожарнику, который сам разносил спички?

Он надел очки обратно. Подтянул к себе свежий лист из принтера.

— Вот почему я зову тебя, а не иду на твоё телевидение сам. Меня осмеют за минуту, и будут правы по форме, хоть и слепы по сути. А тебя — слушают. — Он толкнул лист через стол. — И вот вторая вещь. Это не Лебедь, Лена. Это ближе.

Она взяла лист. И не сразу поняла, на что смотрит, потому что отказывалась понимать, а когда поняла, бумага в руке стала очень лёгкой.

Спектрограмма. Знакомая до последней линии — она видела её каждый день своей профессиональной жизни. Спектр Солнца. И на нём, в инфракрасном крыле, — крошечная аномалия, тень избыточного тепла там, где тепла быть не должно. Подпись начавшейся постройки. Первый виток решётки.

— Это с орбитального телескопа, — сказал Левин тихо. — Три недели назад. Они отбраковали как шум приборов — те же люди, та же грязь на зеркале, ничему не научились. Я выпросил сырые данные у одного мальчика, который меня ещё помнит. — Он смотрел в никуда. — Лебедь — это надпись. А это, Лена, — приглашение. Только не нам в гости. Это нас приглашают. Седьмая ступенька уже легла на нашу собственную звезду, и никто, кроме слепого старика и тебя, об этом ещё не знает.

В тишине было слышно, как он дышит — со свистом, через силу. За невымытым окном, в дневном свете, стояло Солнце. Обычное. Тёплое. С первым невидимым витком серебра, который полз вокруг него, пока они говорили.

## 6

Через девять дней о Солнце знали все, и человечество встретило это известие так, как Елена не могла себе вообразить даже в самом дурном сне: с радостью.

Она смотрела пресс-конференцию с выключенным звуком, из палаты, сидя у кровати спящей Миры. На немом экране сменяли друг друга лица — учёные, министры, человек в облачении, которого она не узнала. Бегущая строка внизу кадра делала за них всю работу. «ИЗБРАНЫ». «ЗЕМЛЯ — СЛЕДУЮЩАЯ». И, через минуту, уже без вопросительной интонации, утвердительно, как сводка погоды: «НАС ОБЕРЕГАЮТ».

Логика собралась за эти девять дней с пугающей скоростью, и Елена видела каждый её шарнир, потому что сама невольно поставила первый. Раз они гасят звёзды нежно. Раз они инженеры, а не разрушители. Раз они выбрали именно нас из всей галактики, из миллиардов звёзд, из тьмы. Значит, мы важны. Значит, в этом замысел. Значит, спасение.

От чего спасение — об этом не спрашивали вслух, но Елена знала ответ, и его знал каждый. От себя. От климата, который уже горел — лето теперь приходило с пожарами, как с временем года; от моря, которое уже поднималось и которое уже отняло два прибрежных города и подбиралось к третьему; от арсеналов, которые всё ещё стояли заряженными в шахтах по обе стороны планеты, и от тех, чей палец лежал на этих арсеналах. Человечество три поколения жило с тихой, привычной, как фоновый шум, уверенностью, что само себя погубит. И вдруг с неба протянули руку и сказали: не бойтесь. Это оказалось слишком сладко, чтобы отказать. Отчаявшийся не спрашивает спасителя о цене — отчаявшийся бросается на шею.

Она переключала каналы беззвучно, и в каждом было своё. Где-то служили молебны — переполненные храмы, лица, обращённые вверх. Где-то уже стояли в очередях: человечество, ещё не зная толком, к чему именно записываться, уже записывалось, и появились первые, кто продавал места в этих очередях, и первые, кто покупал. Богатые понимали раньше бедных — богатые всегда первыми чувствуют, где будет тесно. Мелькнул сюжет про закрытый список, про какую-то «приоритетную консервацию», про сумму с числом нулей, которое не помещалось на экране. Появились и проповедники — не старых богов, а нового: молодые, сияющие, говорящие в камеру о том, что страх кончился, что нас ждут, что надо лишь принять. Их называли по-разному, но Елена про себя звала всех одинаково — теми, кто торопится лечь.

Телефон её не умолкал. Её звали везде. Голос надежды, женщина, которая поняла первой, — теперь от неё ждали, чтобы она встала перед видом и благословила. На столике рядом мигало одиннадцать пропущенных от людей, которых полгода назад она считала важными.

Звонил и Левин. Его она брала. Его голос был всё тише — болезнь шла своим уступом вниз, синхронно со всем остальным, будто весь мир и один старик гасли по одной кривой.

— Скажи им «нет», — хрипел он. — Пока тебя ещё слушают. Скажи: это не дар, это инвентаризация. Они не богов нам послали, Лена, они послали каталогизатора. Скажи это вслух, одной фразой, чтобы запомнили.

— Меня перестанут слушать в ту же секунду.

— Значит, тебя слушали не за правду. — Свист, кашель. — Тогда хотя бы замолчи. Если не можешь закричать — не давай им больше своего лица. Молчание честнее улыбки.

Она хотела замолчать. Она почти решила замолчать — отключить телефон, сидеть в палате, держать руку Миры, быть наконец тем, чем должна быть мать, и пусть мир сходит с ума без её лица.

А потом, на десятый день, пришло письмо — официальное, с гербами трёх космических агентств, — и в нём было то, перед чем замолчать она не смогла.

Собирали экспедицию. К точке Лагранжа между Землёй и Солнцем, где растущий якорь решётки уже сомкнулся достаточно, чтобы внутрь можно было войти. Не к мёртвому Лебедю,

до которого тысяча пятьсот лет, — к живому, начавшемуся здесь, в полутора миллионах километров, в нескольких сутках хода. Первый прямой контакт. И в списке из шести имён, в самом конце, после командира, инженера, врача, стояло её собственное.

Не как голос надежды. Как лучший в мире специалист по тому, что убивало звёзды. Её звали не благословлять. Её звали — понимать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.